



Север

9

1974

ВЕНТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР,
ОЮЗОВ
ПИСАТЕЛЕЙ
КАРЕЛЬСКОЙ
И
КОМИ
АССР,
АРХАНГЕЛЬСКОЙ
И
ВОЛОГОДСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Издается с 1940 года

© «Север» 1974 г.

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Дмитрий УШАКОВ —
На родине, стихи 2
- Лидия ВАКУЛОВСКАЯ —
Романтик, повесть 4
- Сергей МАКАРОВ —
Новые стихи 34
- Константин ПАУСТОВСКИЙ —
Теория капитана Гернета 35
- Загадочная повесть (послесловие
Ф. Макаровой и Л. Резникова) 53
- Станислав ЗОЛОТЦЕВ —
Выстрел в зенит, стихи 59
- Рудольф ЛУСКАЧ —
Белая сорока, роман (перевод с
чешского, окончание) 61

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Николай ЗАЙЦЕВ —
Опять иду к радисту 85
- Александр ВАСИЛЬЕВ —
Олонец — посад старинный 94

КРИТИКА

- Тайсто СУММАНЕН —
О специфике перевода эпоса 106
- Ал. МИХАЙЛОВ —
Разбег прозы Александра Яшина 115
- К 70-летию со дня рождения Н. А.
Островского
- Т. КИРЬЯНЕН —
«Как закалялась сталь» в Фин-
ляндии 123
- Матти РОССИ —
Островский 125

Книжное обозрение

- Я. ФИНКЕЛЬШТЕЙН —
...Без этого нет прогресса 127

НА ВКЛЕЙКЕ

- Олонец и окрестности 96
- Фотогалерея «Севера»
На второй стр. обложки фото
В. Казимина

РАЗБЕГ ПРОЗЫ АЛЕКСАНДРА ЯШИНА

ОБ АЛЕКСАНДРЕ Яшине как поэте написано немало, хотя еще, разумеется, сказано далеко не все. О прозе же поэта писали редко и не всегда с достаточной мерой объективности. Между тем проза Яшина имеет самостоятельное значение. Еще в годы войны, работая во фронтовой печати, он писал не только очерки и репортажи с места боевых действий, но и рассказы, которые тоже опубликовал во флотских газетах. Однако Александр Яковлевич не придавал серьезного художественного значения тем прозаическим опытам и ни разу не пытался переиздать что-либо из рассказов военной поры. Обращался он к прозе и в середине пятидесятых.

Но серьезное увлечение прозой пришло в начале шестидесятых годов. Воодушевляющим для него, видимо, был успех повести «Сирота». Федор Абрамов, например, считает, что в этой вещи «с наибольшей полнотой развернулся сатирический талант писателя». Жанр, в котором написана повесть «Сирота», нельзя отнести к «чистой» сатире, но сатирические элементы в создании центрального образа произведения, образа Павла Мамыкина, дают все основания говорить об этой стороне дарования писателя.

Причем неожиданность и реалистическая убедительность, психологическая разработанность образа сказываются в том, что Яшин извлек его совсем не из той среды и не из тех обстоятельств, из которых мы привыкли видеть извлеченными подобные или близкие этому характеры. Павел Мамыкин — сирота, сын погибшего на войне солдата, честного колхозного труженика, он должен бы, кажется, унаследовать все лучшие черты своего отца. Не только память о тружениках отце и матери, но и пример работающей и безответной бабушки, младшего брата Шурки, Нюрки Молчуны, которая приглянулась Павлу и которая сама тянулась к нему, да и многих других односельчан должны бы с детства приучить его уважать труд и самому трудиться вместе со всеми. Но однажды ма-

ленький Пашка понял, что его пожалели как сироту и что из этого своего положения он может извлечь некую выгоду. Попробовал он это сделать и раз, и другой — получилось.

Психологический расчет Яшина оказался безупречно верным. Он построен на доброте и жалостливости русских людей, которые уж кому-кому, а обиженному судьбой сиротинушке никогда не откажут в помощи, от себя кусок оторвут, а ему помогут. И ведь сколько бесчестных людей и прежде пользовались этой добротой, мягкостью характера, отзывчивостью душевной, сколько захребетников, иждивенцев, приживальцев кормилось за счет чужого труда... Не перевелись и ныне подобные типы, только они приняли иное, более современное обличье. И вот Пашута Мамыкин уже с раннего детства лелеет в себе этакого обиженного судьбою и потому имеющего особые права на внимание и заботу и на особое положение человека. И все окружающие словно бы заколдованы этим его внутренним убеждением, и никому в голову не придет, что вот младший братец его, Шурка, тоже ведь сирота, но никаких прав ни на что не предъявляет и работает вместе со всеми, и живет, как все в деревне.

Особую заботу о Паше проявляет председатель колхоза Прокофий Кузьмич. Он видит в смышленном мальчишке своего преемника и определяет его в школу-семилетку. Учеба не пошла у Павла, зато в демагогии он все больше преуспевал и все больше научался извлекать пользу из своего сиротского звания. Так он, не доучившись в семилетке, попал в ремесленное училище. И даже производственная травма, которую получил в цехе по ротозейству, пошла ему на пользу. Вернее, он сумел извлечь из нее максимум пользы. Началось с бесплатной путевки в дом отдыха. Мамыкину понравилось ничего не делать, отдыхать, пользоваться вниманием врачей, обслуживающего персонала, руководства. И он, ссылаясь на недомогания настоя-

щие, а еще больше мнимые, стал добиваться бесплатных путевок в дома отдыха и санатории, стал вымогать себе различные льготы в жизни.

А рядом рос младший брат Шурка, рос, как многие деревенские дети, безотцовщина, сам по себе, учить его не стали — не возлагали надежд на парня.

Председатель Прокофий Кузьмич выработал твердый «педагогический» принцип, который, впрочем, разделяла и бабушка, да и другие односельчане, кроме разве директора школы, где учился Павел. «Что-то в нем такое имеется, умственное что-то», — думал про Павла председатель. — «Этот своего не упустит, цепкий... Главное — не дураком, горячки зря не порет, держит что-то себе на уме. Из такого может человек получиться. В кадры может пойти, руководителем стать...»

А вот как он думает о Шурке: «Шурка тоже, конечно, парень неплохой, растет в отца, но это же простой работага, земляной человек. Такие вытравляются сами по себе, как сорная трава, чего с ними возиться... Ломит он спину, как и отец ломил, как тысячи лет до него ломили. Ученые не для него...». И осуществляет этот принцип в своей «педагогической» деятельности неукоснительно.

Скоро, однако, оказывается, что не Павел, на которого возлагались все надежды, а именно Шурка, подростки маленько, выказывает государственный подход к колхозному делу и даже вступает в конфликт с председателем, а директор школы Аристарх Николаевич первым понимает, как ошиблись в братьях их опекуны и воспитатели, и говорит Шурке о необходимости учиться.

Павел же между тем продолжает строить благополучие на спекуляции своим сиротством и на демагогии, он уже отлично усвоил безотказные способы воздействия на начальство и общественные организации. У него сложилась устойчивая форма заявлений: «Вначале он рассказывал о своей тяжелой личной судьбе — отец погиб на войне, мать — на колхозном фронте, двое маленьких детей остались круглыми сиротами; затем — что, если бы не Советская власть да не колхоз, погибли бы они голодной смертью. Но Советская власть не бросила сирот, не позволила им пойти по миру. И вот они, два брата, теперь работают: один — в сельском хозяйстве, другой — на производстве».

Все ведь, в сущности, верно, так оно и было и могло бы быть, но для чего обо всем этом говорится — вот в чем вопрос! «Далее он излагал, в чем нуждается и почему не может сейчас обойтись без поддержки, без помощи. При этом обещал, что придет время и он за все оплатит своему щедрому отечеству».

Такое заявление все равно что беспроигрышный лотерейный билет: ведь каждый, к кому обращался Павел Мамыкин, невольно чувствовал себя соучастником доброго дела, проявляя государственную заботу о воспитании сирот, как же он мог отказать человеку, который, может быть, в по-

следний раз обращается за помощью, который вот-вот уже станет на ноги и готов за все отплатить сторицей!..

А Шурка в это время ломил бесконечную колхозную работу, но не как тысячи лет назад, нет, парень все больше выявляет в себе черты мужичьей зрелости и аналитического мышления, он уже ощущает нехватку знаний и размышляет о том, что надобно учиться, и учиться «не для города, а для своей же деревни, для своей земли. Людей кормить надо, а если земля совсем осиротеет, тогда что будем делать, куда покатимся?» В нем постепенно копится боль и обида на Павла, который теперь только и делает, что занимается устройством своей жизни, забыл про бабушку, вообще не показывается в деревне.

Между братьями Мамыкиными должен был возникнуть конфликт, и он возник, ибо смысленный и честный повзрослевший Шурка понял наконец, что собой представляет Павел. А тот в свою очередь устроился на «выгодную» работу, завскладом, женился тоже «выгодно» (забыв, конечно, о Нюрке Молчунье, ждавшей его в деревне), так как у тещы есть «корова, поросенок, огород, две яблони и все такое», да еще сам ларьком заведует. И чтобы «перестроить» дом тещы, в котором Павел уже видит себя полновластным хозяином, он просит в письме бабушку и брата помочь ему «подняться на ноги», а для этого заколоть борово и пропустить мясо «через ларек» тещы или продать на базаре.

Не дождавшись ответа на свое письмо и просимой помощи, Павел сам приезжает в деревню и уже не просит, а требует раздела между ним и Шуркой имущества, забывая при этом о бабушке, забывая о том, что сам-то он ничего не сделал для хозяйства, долю которого требует. Это вероломство настолько поразило младшего брата, что он сразу и не уразумел, о чем идет речь, а уразумев, решительно заявил: «Пускай все берет — скорей подавится». Когда же Павел сказал гнусность о Нюрке Молчунье, Шурка набросился на него с кулаками и избил.

Раздел произошел. Для Павла была разобрана по бревнам половина дома и на грузовике с прицепом перевезена в город. Бабушка окончательно слегла, потеряв дар речи, когда братья подрались меж собою, и скоро умерла. На похоронах ее не было только Павла. «Он, должно быть, сразу начал перестраивать городской дом, потому и не успел приехать на похороны».

Яшин довел семейную коллизию до трагической развязки и оставил братьев Мамыкиных в самом начале их зрелой человеческой, мужской судьбы. Она, в общем, ясна нам, судьба Павла и Александра. Она уже запрограммирована в характере и мировоззрении того и другого. Яшин психологически досконально проследил, как с самого раннего детства складывается социальный тип вымогателя, захребетника и как окружающие способствуют этому, «жалуют» сирого и обиженного судьбой, не замечая, что тому удобно быть, сырым и обиженным и что это отнюдь не состояние, не

положение в обществе, а подсказанное обстоятельствами ампула сироты. Под него и вырабатывается характер, тип поведения. И писатель рассматривает его как явление социальное, глубоко чуждое нашему общественному строю, всему укладу жизни.

Сам переживший безотцовщину, Яшин не знает снисхождения к тем, кто взлелеял эгоиста Павла на свою шею. Поэт с благодарностью вспоминает: «К сиротской доле относясь с участием, меня добру учила вся родня...» Учила «с пристрастьем», а не жалостью, а — когда надо — и поркой, подзатыльником, средствами хоть и грубыми, но испытанными.

Александр Яшин показал в повести «Сирота» аномалию деревенского воспитания и выявил талант аналитика, беспощадного в обличении корыстолюбия и захребетничества, беспощадного в обличении человеческой слабости потакать бездельникам и тунеядцам, человеческой слепоты к этим сорнякам, произрастающим на почве общественного благодушия.

И почти одновременно с «Сиротою» Яшин пишет прозу совершенно иного характера, прозу лирически проникновенную, словно просвеченную солнцем, — цикл миниатюр «Вместе с Пришвиным». Судя по всему, встречи с Михаилом Михайловичем Пришвиным, давшие сюжеты яшинским миниатюрам, относятся к самому началу пятидесятых или, скорее, к концу сороковых годов, а написаны почти все они зимой 1961 года. По ощущению природы, по чувству единения с ней «пришвинские» рассказы близки его же, яшинской лирике тех лет. Сразу же после войны Яшин посвятил два лирических стихотворения Михаилу Пришвину, это, конечно, не просто знак пиетета по отношению к маститому писателю, в нем есть свое личное для Яшина значение. Пейзаж в стихотворении «Сосновая грива» перекликается с пейзажем в прозе-миниатюре «Подарки Пришвина». И, наверное, это не позднее «додумывание», а тогдашнее впечатление, что «среди цветов и трав Михаил Михайлович ходил бодрее, больше улыбался и шутил чаще», ведь нечто сходное переживал и Яшин, мы знаем это по стихам.

А что касается стилистики, то тут ощущается влияние Пришвина уже на более зрелого Яшина, на Яшина шестидесятых годов. Акварельная, местами изысканная проза пришвинских миниатюр Яшина близка прозе самого Пришвина. Чем именно? Я бы не стал проводить сравнительного анализа, для этого слишком мало материала, да и не эти миниатюры наиболее характерны для прозы Яшина. Существовало, пожалуй, лишь то, что, набрасывая контуры портрета писателя, он как бы вживался в систему его взглядов на жизнь, на природу и постепенно усваивал его стилистическую манеру.

Разумеется, Яшин не мог перенять ее целиком, он и в этих миниатюрах оставался самим собой, Яшиным-лириком, помужички грубоватым, но способным отличать и чувствовать прекрасное не хуже горожанина, а уж понимать природу,

слушать ее — и говорить нечего. С прозой Пришвина яшинские миниатюры сближает стремление автора быть абсолютно точным в выражении мысли, доводить до изящества синтаксис фразы, черпать выразительность пластических образов в природе («...выпяченные острые мужички кадкы торчали, как твердые грибные наросты на березовых стволах»).

Живые и точные наблюдения Яшина воссоздают неповторимые черты облика великого писателя. Более всего, пожалуй, запоминается сюжет о яблоках. Пришвин рассказал Яшину, что он возненавидел яблоки с тех пор, как они стали для него обязательными, стали лечебной диетой. Автор, щеголяя своею «праведностью», напомнил Михаилу Михайловичу насчет «осознанной необходимости», дескать, с этой точки зрения все обязательное перестанет быть тягостным. Пришвин на это ответил:

«— Есть люди, любящие природу, перелески, луга, любящие жить в лесу. Но если такому человеку сказать, что он должен жить в лесу, — он сочтет это за высылку, и приятная жизнь в лесу станет для него наказанием.

— Да, но...

— Кушайте яблоки. Старость — ведь тоже осознанная необходимость. Но когда вы состаритесь, вы поймете, что не со всякой необходимостью человек мирится охотно и легко. Кушайте яблоки, пожалуйста!»

Урок диалектики, который преподавал Михаил Михайлович автору миниатюры, запомнился ему на всю жизнь. И сам он остался в памяти Яшина как мудрец и олимпиец, охотно поменявший местоительство богов на лесную поляну, на край непуганых птиц, на Берендеево царство.

Самая грустная из миниатюр — «Последняя тропинка» — прощание с Пришвиным. «Тропинка» эта — всего лишь в длину балкона квартиры, где жил Михаил Михайлович, но она символически разбегается на много разных тропинок, и вот по одной из них, говорит Яшин, «но не по пришвинской, а по своей, иду я сам». От Пришвина, от его символической тропинки, но по своей — такова диалектика преемственности в творческом развитии художника. Это и закон всей жизни.

В прозе Яшин больше не приблизился к Пришвину. То сближение, которое было органично в рассказах о Пришвине, не годилось в иных сюжетах. Правда, в рассказах из цикла «Сладкий остров» Яшин как будто бы тоже пытался подойти к пришвинской прозе, но это уже были иные сюжеты, иная тональность повествования. Какое-то благодушие, не свойственное ему в этот период (о чем бесспорно свидетельствуют драматически напряженные исповедальные стихи), отделяет эти «семейные», с налетом сентиментальности рассказы от всей прозы Яшина. Может быть, к ним надо отнести как к попытке на время отойти от житейской суеты, от внутренних терзаний, от нравственного самоанализа... Но в «Сладком острове», не знаю уж по чьей прихоти, оказался маленький расска-

зик «Журавли» (с подзаголовком «Сила слов»), не имеющий отношения к этому циклу, написанный еще в 1954 году. Вот это, может быть, и есть самый «пришвинский» из рассказов Яшина. И по сюжету, и по интонации, и по характеру развития мысли, и по ощущению природы, и по стилистике и — на это обращаю особое внимание — по той вере в колдовскую силу слова, которая здесь заключена. Ради этого ведь и написан рассказ!

Пересказывать его бессмысленно, он весь — эмоционально насыщенный концепт состояний, с выразительной символикой, ее можно понять только прочитав рассказ от начала и до конца, поверив в него как в сказку детства, которая оборачивается поэтической былью, почти невероятной материализацией далекого воспоминания. Подумать только, человек своим заклинанием восстановил строй журавлей, поверил в силу своего заклинания, в силу слова! Как это прекрасно, как это возвышает человеческую душу, душу художника!..

А написано это было еще до пришвинского цикла.

Из «Маленьких рассказов» некоторые — детские — примыкают и тематически и стилистически к рассказам из «Сладкого острова». Но есть в этом цикле психологически тонкий рассказ «Проводы солдата», сочная бытовая миниатюра «Первый гонорар» (обе эти вещи написаны в середине пятидесятых годов), единственная, кажется, прозаическая вещь о минувшей войне «После боя» (тоже психологический этюд, где война — только фон для размышлений, для передачи состояния). И еще — превосходный рассказ «Старый валенок».

Старик-колхозник Лупп Егорович и сибирийский кот со смешным именем Старый валенок ведут «диалог». Вернее, говорит один Лупп Егорович — за себя и за кота, но он-то знает своего кота и точно угадывает, что тот мог бы сказать, если бы умел. В этом трогательном и удивительно человечном сюжете проглядывает Чехов, да и в мастерстве одностороннего «диалога», в естественной разговорности его тоже ощущается влияние автора «Каштанки». Сквозь ворчливую, сердитую болтовню подвыпившего старого человека то и дело видится характер равнодушный, не смирившийся со старостью. А бранчивые слова, обращенные к коту, — видно, что они сказаны не со зла, что это своеобразная «мужская» грубоватая доверительность и интимность, что за грубоватыми словами скрыта бесконечная доброта и нежность к животному. Кот на эту доброту и нежность по-своему отвечает тем же.

Рассказом «Старый валенок» Яшин продолжает традицию толстовского «Холстомера» и чеховской «Каштанки», рассказов о животных Кулрина и Пришвина. А от деда Луппа Егоровича тянется какая-то незримая нить к беловскому Африканычу, к его удивительному разговору с лошадыю в «Привычном деле», но тут я прерываю всякие аналогии, ибо они требуют уже специального исследования, лежащего за пределами данной статьи. Скажу только по-

путно, что ведь не кто иной, как Александр Яковлевич, настойчиво советовал писать прозу молодому поэту Василию Белову, опубликовавшему немало стихов и даже одну поэму и окончившему Литературный институт с дипломной работой, составленной из поэтических произведений.

И, наверное, ни к кому из писателей-земляков Яшин не относился с такой нежностью, с какой он относился к Василию Белову. Вспоминаю, как незадолго до кончины, когда я был у Александра Яковлевича в больнице, дежурная сестра сообщила, что к нему приехали Василий Белов и Евгений Носов. Надо было видеть, как преобразился в эту минуту Яшин. На его бледном опавшем лице появился румянец, он сразу оживился, стал поудобнее устраиваться на своем жестком ложе. Пока Злата Константиновна, супруга Александра Яковлевича, денно и нощно дежурившая у его постели (только временами ее сменяла дочь Наташа), ходила встречать дорогих гостей, Яшин с отцовской нежностью говорил мне о Белове:

— Вася — большой писатель. Давно у нас такого не было. Сам-то он мал, росточком не вышел, а духом велик, талантом. Мы все пройдем, забудемся, а он — нет. Я-то, может, не забуду, потому что однажды предисловие написал к его книге, хоть и не напечатали его...

— Что уж это вы, Александр Яковлевич...

— Нет-нет, не надо меня перебивать, я знаю, что говорю. Талант у Васи глубинный, от пупка, и силека у него есть, чтобы шлифовать этот природный талант, придавать тому, что он пишет, блеск художественности, блеск подлинности. И годов вперед много, если с умом их проживет.

Во все время этого недолгого визита Яшин, казалось, был целиком поглощен Беловым, и хотя не обходил в беседе ни Евгения Носова, ни Злату Константиновну, ни меня, но видно было, как тянулся он душою к своему любимцу, как хотел высказать ему что-то, а все будто стеснялся, понимая, что словами и не выскажет того, что хочет высказать; однако Белов, думаю, и так понимал все... Белов такими словами откликнулся на смерть Яшина: «Многих и многих из нас отогрел он под своим крылом, наставил на путь. Особенно много добра сделал он для литераторов-северян... Для меня же смерть Александра Яковлевича — горе тройное! Он был для меня больше, чем друг».

Хочу еще раз повторить, что проза Белова не дает достаточно веских поводов для сравнительного анализа с яшинской прозой, здесь могли бы быть прослежены лишь некоторые общие языковые традиции, но не больше. Да и здесь их взгляды не совпали. Отвечая на «анкету» журнала «Вопросы литературы» (1967 г., № 6), они по-разному трактовали проблему литературного языка. Яшин обращал внимание на душевную готовность писателя что-то рассказать людям, и в этом случае все остальное, в том числе и язык, формируется «само собой». И все-таки он придавал большое

значение сознательному отбору художественных средств, сознательному формированию стиля. Белов же без колебаний считает, что «языковой... строй ткется, возникает сам собой, говоря словами анкеты, «в процессе выполнения общей художественной задачи».

Расходятся они и во взгляде на прозу, на ее особенности, и это расхождение объясняется особенностями таланта того и другого и не имеет принципиального характера. Неповторимая самобытность прозы Белова проистекает от другой, не похожей на яшинскую, личности, от другого характера, более мягкого, более углубленного в себя, не склонного к резкому жесту, к обнаженной эмоции.

Яшин-прозаик, к сожалению, не завершил многие свои замыслы, обещавшие поступательное развитие его таланта. Владимир Солоухин верно заметил, что творческий путь Яшина, несмотря на кажущуюся ровность, был довольно необычным.

«Обычно к пятидесяти годам графическая линия творческого пути писателя, а тем более поэта, вот именно выравнивается, приближается к горизонтали, если не имеет тенденции идти под уклон...

У Яшина было все не так. Он как будто только начинал раскрываться. И мы, зная все, что им написано, тем не менее поражались каждому новому его произведению как открытию, и каждое новое стихотворение было удивительнее и прекраснее прежнего».

В еще большей степени это относится к Яшину-прозаику. Самая значительная часть его прозы написана уже в шестидесятые годы. Это и «Сирота», и «Вологодская свадьба», и «Угощаю рябиной», и «Подруженька». Односторонняя критика «Вологодской свадьбы» помешала в свое время верно оценить достоинства этого произведения, между тем оно открывало весьма органичную для Яшина перспективу развития его прозы. «Вологодская свадьба» по существу очерк нравов. Картины быта, подробное описание свадебного обряда не имеют самодовлеющего значения, на их фоне раскрываются характеры персонажей, участников этого народного действия, каким испокон веку в русском селе была свадьба.

Наверно, прав Ст. Лесневский, высказавший предположение, что «именно такая концентрированность фактов на малом пространстве и вызвала у критиков повесть ощущение «перекося». Первый объективный разбор этого произведения дал Георгий Радов, который затем был поддержан и Константином Симоновым.

Рассказ начинается живой картинкой в аэропорту, показывающей, насколько обыкновенным, будничным явлением стала для сельских жителей авиация. Вот автор следит за очередью, выстроившейся к самолету: «...не охнет ли хоть одна старушка, не перекрестится ли? Нет, ни одна не перекрестилась, ко всему привыкли». В самолет садятся — как в санн-розвальни, будто всю жизнь по небу летали.

И вот первый набросок характера, один

из главных персонажей свадьбы — невеста. Чем же она примечательна меж других? Красотой? Статью? «Нет, достоинства Гали — недородной, нерослой, несильной — в другом. Она из очень богатого рода, а уважение к такому наследству живет в крестьянах и поныне». Вот что, оказывается, — трудолюбие и непоседливость — стало главным приданым невесты, которая к этому времени работает на льнозаводе и успела проявить себя. Потом мы увидим Галию и в момент подготовки к свадьбе и исполнения подготовительного обряда, когда ей надо будет плакать, а она — счастливая, розовощекая, круглолицая, само воплощение жизнелюбия — никак не может выдать из себя ни одной слезинки; и в момент самой свадьбы, когда сильно подгулявший жених начал было куражиться, и Галя, внешне уступая ему, уже дает понять, что она не намерена в дальнейшем мириться с неравенством. («А только я больше тебя зарабатываю, — говорит она жениху. — Понял? Чего ломаешься-то?»). Нрав молодой женщины в ходе насыщенной событиями свадьбы проявляется довольно разнообразно, и черты будущей супружеской жизни (учитывая, что и жених успел показать себя) в общих очертаниях тоже просматриваются.

Рядом с Галей — заметная фигура незаметной женщины, ее матери Марии Герасимовны. Мало видела радости в жизни эта женщина. Она потеряла на войне мужа, а Галя была последней ее опорой в семье. Но более всего ей хочется, чтобы на свадьбе все было по-хорошему, все как у людей, и ради этого она не покладая рук готовит дом к свадьбе, все чистит, скоблит, моет, ради этого готова униженно носить жениху развязность и грубость и потакать его капризам. Наверное, и в прошлой жизни, в замужестве, ей была отведена роль многодетерпеливой и безропотной жены, во всем покорной хозяйну, «большаку» в доме, мужу.

Иной трудно, невозможно представить Марию Герасимовну, видя, как угодливо ведет она себя по отношению и к будущему зятю, и к его родне. Но в чем она непременно хочет соблюсти достоинство — и женское, и семейное — так это в том, чтобы все было «по-хорошему», чтобы свадьба игралась по старинному ритуалу, а то ведь как бывает: «Расписались — и дело с концом. Никакой красоты». Народная эстетика свадебных обрядов освящена древней традицией и, несмотря на многие архаические элементы, кажущиеся ныне смешными и нелепыми, имеет определенный смысл. А заключается он — в самой общей форме — в том, чтобы эмоционально подготовить молодую пару к супружеству. Свадебное действие как бы «проигрывает» увертюру к будущей семейной жизни. (Мамин-Сибиряк говорил о Чердынской свадьбе, с обрядами и песнями которой был хорошо знаком, как о «национальной опере»). И конечно, очень большое значение имеет эстетика обрядов, их антураж, подбор действующих лиц.

Один из важных персонажей на старой свадьбе — дружка. Если для нынешней деревенской молодежи «свадьба была чем-то вроде самодетельного спектакля», то дружка Григорий Кириллович исполнял в этом спектакле чуть ли не главную роль. Во всяком случае, он должен был задавать тон веселью. Бывалый человек Григорий Кириллович, славившийся своим озорным нравом и неумностью, сразу же после своего появления завладел всеобщим вниманием, всех развеселил, выступил своеобразным антиподом другому персонажу — брату невесты Николаю Ивановичу, помощнику колхозного бригадира, человеку молчаливому, занятому только тем, что был он «главным подающим на пиру», и свято выполнял эту свою обязанность: ведь если нет на свадьбе пьяных, то и счастья молодым не будет.

Яшин верно замечает, что человеческие характеры легко и свободно раскрываются на пиру. А уж на свадебном, который длится долго, порою несколько дней, — и тем более. Нрав и характеры на «вологодской свадьбе» подмечены глазом острым, приметливым, от него не ускользнуло многообразие типов, даже самых неприметных. А уж тем более не остались незамеченными «типично русские правдоискатели, ратующие за справедливость, за счастье для всех».

И автор показывает таких правдоискателей-«самосожженцев» в деле, в споре, в схватке с директором льнозавода, работники которого приноровились умышленно занижать сортность поступающей от колхозов тресты, что сильно сказывается на колхозных доходах. Это великолепная словесная дуэль сельских политиков! Правдолюбцы в ней оказываются на высоте. Яшин явно сочувствует этим людям, любит их ими. Интересно, что в одном из стихотворений, опубликованных уже посмертно, поэт ведет свой род от «самосожженцев», из этой метафоры выводит характер. И не только свой. Он делает широкое обобщение, явно опираясь на опыт минувшей войны: «И удивляли мир, и побеждали! А для кого-то, верно, издали самосожженцев мы напоминали, когда на танки со штыками шли». Вот где аналогия деревенским правдолюбцам.

Но тут же на свадьбе объявляются и заурядные хвастуны, кичащиеся своим положением, заработком, домом, женой и тещей... А вот хвастунов незаурядных Яшин выделяет особо: «Слушать таких — одно удовольствие». Он квалифицирует их как своего рода художников, этаких сельских лакировщиков действительности.

На какой же свадьбе не бывает вдов — и рано постаревших, несчастных, и довольных своей судьбой, про которых говорят: сорви-голова. А несчастные, замордованные своими непутевыми пьяницами-мужьями бабы, которым так надо выплакаться друг перед другом да пожалиться на свои беды!

Все видит, все примечает своим зорким глазом автор «Вологодской свадьбы». Он — как райкомовский шофер Виктор

Сладков — ничего не пропускает, не оставляет без внимания, только, в отличие от Сладкова, уже по роли повествования, отведенной ему в произведении, не вмешивается ни во что, а лишь наблюдает. А райкомовский шофер — он лицо действующее, он носится по району, встречает десятки, сотни людей, которые часто обращаются к нему за помощью: то запчастей достать, то с ремонтом помочь, то подвезти чуток. «Справедливый человек!»

В калейдоскопе лиц на вологодской свадьбе запоминаются и не главные персонажи, а те, которых принято называть эпизодическими. И в этом постоянно меняющемся, шумящем, поющем, говорящем, кричащем, молчащем, плачущем, смеющемся людском сборище раскрываются человеческие нравы, их переходность, их диалектическая противоречивость, их неустойчивость. Видно, как старое и новое в сознании человека причудливо перемешано, как смешно и нелепо выглядит то, что уже отжило свой век и не имеет перспективы, как оно вытесняется новым, как этому новому часто еще не найдены формы выражения, что в особенности касается эстетики быта, соблюдения ритуалов.

Вот какие мысли вызывает чтение «Вологодской свадьбы» сегодня, и если в ней есть некоторые очерковые сгущения, то, право же, они не искажают общей картины сельской жизни, показанной к тому же под очень специфическим углом зрения.

Произведения, написанные в середине 60-х годов, показывают, как раздвинулись нравственные и эмоциональные границы яшинской прозы. Чтобы убедиться в этом, достаточно поставить рядом почти одновременно написанные рассказы «Подруженька» и «Угощаю рябиной». «Подруженька» по внешней канве примыкает к «Старому валенку», но это рассказ о трагедии одиночества. Еще из опыта войны Яшин вынес убеждение: «Печальная участь одинокого...» Стихотворение, из которого взята эта строка, датировано 1944—1946 годами. И потом Яшин в разных вариациях осмысливает тему одиночества, но подлинно трагическая коллизия обнажена в рассказе «Подруженька». Щемящее чувство жалости к одинокому, оторванному от родного гнезда и обделенному вниманием человеку, чувство, которое возникает уже в самом начале рассказа, усиливается по мере развития сюжета — очень незатейливого, простенького, — достигает большой силы к концу его.

Старушка Катерина Федосеевна, потеврявшая на войне двух сыновей, а лотом лишившаяся мужа (он на старости лет увез ее из родной деревни на железнодорожную станцию на заработки да там и умер), выдавшая замуж дочь, которая тоже где-то колесит по свету, — живет одиноко, тоскует, не может прижиться на новом месте. То ли дело дома бы, в своей-то деревне последние дни доживать: «Вышла бы во двор, в поле, забрела бы к Аграфене Мелентьевой или к Миколыхе Трошкиной — каждая слеза пополам, каждый вздох поровну! А в лесу, за коровьим

выгоном, что ни безрезка — подружка твоя, вместе росли, вместе сок набирали, заодно и листья ронять».

Худюшая облезлая кошка, которую Катерина Федосеевна встретила в перелеске за железной дорогой, оказалась для нее находкой. Роковой находкой. И выходила ее старушка, и откормила. Когда кошка — Катерина Федосеевна назвала ее Подружкой — уснула на постели, сама старушка, чтобы не потревожить ее, устроилась на печи. По утрам готовила Подружке крошево с молоком. Подружка все принимала как должное и с каждым днем выказывала все больше требовательности к своему рациону и все меньше внимания к своей благодетельнице. Она раздобрела, обленилась и, наконец, стала исчезать из дому. Тяжело переживая кошачью неблагодарность, Катерина Федосеевна, однако, хоть и выговаривала ей, а сама все больше и больше баловала Подружку, «привораживала» ее к себе, «безропотно переносила все ее домогания, жарила и рыбу и котлеты, отказывала во многом себе, даже чай стала пить некрепкий, только бы не остаться в одиночестве. А когда небольшой пенсии не хватало до конца месяца, она подрабатывала в молодежном общежитии стиркой белья, мытьем полов». Даже посылочки дочери стала отправлять реже.

Подружка же становилась все более алчной, кидалась и на птичек под окнами, и даже саму Катерину Федосеевну укусила однажды. А ранней весной началась гульба, и тут уж старушке вовсе не стало жизни.

Здесь повествование перебивается недобрым сном: через открытую форточку к Катерине Федосеевне заглянул огромный черный котиче и страшно, по-человечьи заревел, а потом превратился в «самого настоящего черного дьявола с холодным лунным огнем в круглых глазах, с рогами вместо ушей». Есть что-то булгаковское, жутковатое в этом эпизоде, который дает новый поворот сюжету, ведет его к трагическому финалу. Катерина Федосеевна заболела, стала неразговорчивой, на заботу, которую проявили по отношению к ней соседи, откликнулась скупой, о кошке же пеклась по-прежнему. Уже обессилевшая, с каждым днем все более слабеющая, Катерина Федосеевна с болью и растерянностью наблюдала, как вконец обнаглевшая кошка гадил в горшок с цветами, съедала пищу, которую оставляли для нее на столе соседи, но ничего уже не говорила.

Только незадолго перед смертью старушка просилась: «В деревню бы меня...» Это было последнее ее желание. Соседка Валя застала кошку на груди Катерины Федосеевны, когда та была уже мертвая.

Жестокий финал в этом рассказе у Яшина, который всегда с добром и сочувствием изображал животных да и в быту относился ко всякой живности приветливо, заставляет думать, что на этот раз писатель создал некий символ, некий концентрированный образ зла.

Помнится, Яшин больно переживал про-

пажу собаки, что, кстати говоря, и нашло отражение в стихотворении «Джин». Кто-то, видно, сыграл на доверчивости собаки, на ее доброте, и увел со двора. А в семье все настолько привыкли к доброму и ласковому животному, что пропача его стала большим горем («Сын мой, как на похоронах, плакал о своей и о ее судьбе»). Но поэт думает не только о горе близких, он тоже, как и сын его, думает о судьбе животного: «Неужель в людскую доброту и собака веру потеряет?!» О любви к животным он написал стихотворение уже незадолго до смерти («О собаках»). В рассказе «Подруженка» домашний зверек предстает в совершенно противоположном качестве: как гипертрофированное воплощение зла. Возможно, Яшин считал, что для человеческого облика такое зло слишком неправдоподобно, и он нашел выход в сюжете с прилудной кошкой, которую, словно в насмешку, в поругание нал сдобой, приютившая ее Катерина Федосеевна назвала Подружкой. (Н. Атаров по этому поводу заметил, что Яшин «со всей искренностью стварщения изобразил ведьму в кошачьем образе»).

Местами, может быть, и возникает ощущение мистической предопределенности, нарочитого, гипертрофированного выявления морального уродства (морального, поскольку совершенно ясно, что эта категория проецируется на человеческие взаимоотношения), но так велика сила добра и человечности в образе старушки Катерины Федосеевны, так неодолима ее тяга ко всему живому, так непривычно и безутешно для нее одиночество, что вот эта главная мелодия заглушает все остальное. Она-то и заставляет нас задуматься о том, как важно человеку — в любых обстоятельствах — не остаться одиноким, не оказаться вне общества, и как важно проявлять чуткость в отношениях к тем людям, которые по каким-либо причинам в таком положении могут оказаться. Да и мало ли полезных и добрых чувств пробуждает в нас участливое отношение к Катерине Федосеевне.

А рассказ «Угощаю рябиной» всей своей тональностью, философской раздумчивостью «вписывается» в лирику последних лет, в книгу стихов «День творенья». Написан он в 1965 году, в марте, в предвесеннее время. Обнаруженные на чердаке кисти рябины, которые сам же осенью собирал и по деревенскому обычаю нанизывал на веревку, послужили поводом к размышлению о том, что занимало в эти годы не одного Яшина и что скоро стало в известном смысле заметной тенденцией литературного развития. Именно здесь автор высказывает заветную мысль о том, что «жизнь заодно с природой, любовное участие в ее трудах и преобразованиях делают человека проще, мягче и добрее». И еще он добавляет: «Я не знаю другого рабочего места, кроме земли, которое бы так облагораживало и умиротворяло человека».

Из-за непонимания этой истины детьми и возникает у него конфликт с ними. Им не близка ни природа, ни деревенская

жизнь, все это воспринимается ими как некая абстракция, они — дети городской цивилизации и часто не понимают отца, его зависимости от того, как складывается жизнь где-то на его родине, в вологодской деревне. А он-то, крестьянский сын, не может быть равнодушен к тому, как живут люди в его деревне, ему-то не все равно, какой там вырастет лен, как машины снабжаются запчастями, когда будет построен клуб. Ему не все равно, как будут пробивать себе дорогу талантливые ребяташки из родной деревни, и, наверно, он больше всех будет радоваться, если кто-нибудь из них полетит в космос.

Горько зрелому уже человеку, что дети не понимают и не чувствуют его детства. «Разные мы люди,— думает он,— из разного теста сделаны и, должно быть, по-разному смотрим на мир, на землю, на небо». Наталья Яшина в воспоминаниях об отце рассказывает, как Александр Яковлевич пытался приблизить своих детей к природе, к деревне, как возил их к себе на родину.

Семейная тема в ее традиционном преломлении, как тема отцов и детей, тоже занимает Яшина. Стихотворение «Милое мое горе», написанное примерно в это же время, прямо раскрывает коллизию: «Вытянулась семья — дочери и сыновья. Верилось: с ними стану сильнее я. Стал не сильнее я — еще ранней, еще уязвимей». Помимо семейных забот, помимо постоянной тревоги за детей — какими они вырастут, кем станут? — помимо возрастного недопонимания меж отцом и детьми, — в нем еще живет «страх потери» как психологическое последствие трагической гибели сына. Глубоко к сердцу проникает поэт все, что происходит в жизни каждого из детей, он как бы заново переживает некоторые перипетии своего детства, но слишком велика разница между той, его деревенской, и нынешней городской жизнью, которая стала привычной для его детей.

Горькие эти размышления приводят автора к убеждению, что городские ребята должны бы больше общаться с природой, с деревней, ибо в противном случае что-то «неуловимое, хорошее проходит мимо их души» (это уже в рассказе «Угощая рябиной»).

Вспоминая некоторые позднейшие упреждения на эту тему в прозе и в поэзии, можно только с благодарностью к Александру Яшину заключить, насколько он был диалектичен и осторожен в этом во-

просе, насколько далек был от категорических противопоставлений деревни, как заповедника нравственности и национального духа, «растленному» городу, которые стали довольно расхожими на рубеже шестидесятых—семидесятых годов.

Яшин печалится о том, что меж ним и детьми нет взаимопонимания и что дети далеки от жизни деревни, от природы, но он не отчаивается и не сваливает всех смертных грехов на город, не бранит цивилизацию, не считает ее злом. В его размышлениях нет никакой безысходности, есть сожаление и есть все-таки надежда, мелькнувшая в конце этого лирического сюжета, — надежда на то, что и взаимопонимание будет найдено, и дети его еще приблизятся и к деревне, и к природе. Недаром же кто-то из них, отведав рябины и, очевидно, выслушав от отца все то, что поведал читателю в своих размышлениях, доверительно и робко предложил: «Папа, разве там, на твоей родине, много такой рябины? Может быть, осенью съездим, на берег, а? Той, вашей!»

Выдержанный в чуть грустной, но проникнутой ожиданием и светлым чувством любви к родине интонации, рассказ этот захватывает и своею доверительностью, и тонким лиризмом, и каким-то особым миролюбием, как следствием философского отношения к жизни.

Необычна для Яшина и по теме и по «материалу» опубликованная посмертно повесть «Короткое дыхание» («Звезда», 1971, № 5). На этот раз писатель вышел за пределы сельской темы и написал историю отношений двух типично городских, интеллигентных людей — архитектора Ивана Ксенофонтовича Статыгина и «химички» Раисы Михайловны Райковой. Психологическая незавершенность образа Райковой и неразработанность некоторых эпизодов заставляют предположить, что автор еще вернулся бы к этой повести. Во всяком случае, он не спешил с ее публикацией, по-видимому, испытывая некоторые сомнения в ее нравственно-эстетической значительности. Поэтому и нам следует относиться к ней как к вещи, извлеченной из письменного стола.

Проза Александра Яшина взяла большой разбег с того плацдарма, на котором пустила корни его лирика. Родство их совершенно очевидно. Деревенская Россия жила в сердце писателя, владела его думами, питала его творчество.